

---

Франсуаза Лесур  
Франция

«ЛЮБИ РЕВОЛЮЦИЮ»:  
ПРОЛОГ К «КРАСНОМУ КОЛЕСУ»

*Жизнь и творчество Александра Солженицына:  
на пути к «Красному Колесу»: сборник статей / сост.  
Л.И. Сараскина. М. : Русский путь, 2013. С. 328–336*

«Люби революцию» — одно из самых ранних произведений Александра Солженицына, «неоконченная повесть», написанная в основном на шарашке в 1948 году и уцелевшая благодаря сотруднице Марфинского НИИ Анне Васильевне Исаевой. «Под страхом кары МГБ и уголовного кодекса, — пишет Солженицын в “Телёнке”, — она приняла от меня, сохранила 7 лет — и вернула мне в 1956 году мою рукопись “Люби революцию”...»<sup>1</sup> В 1956 году, когда автор, вернувшись из ссылки, поселился в Рязани, он снова принялся за работу над этим произведением, но о масштабе изменений мы судить не можем.

Прежде всего это рассказ о том, как молодой человек, Нержин, родом из Ростова, приезжает в Москву, поступает в МИФЛИ. Но приехал он в Москву, как потом выясняется, именно в тот день, когда началась война с Германией. Он спешно возвращается домой и прилагает все усилия, для того чтобы попасть в армию, несмотря на то что получил отсрочку от военной службы по медицинским показаниям.

Линия фронта приближается к Ростову, и Нержина вместе с женой направляют в бывшую станицу, город Морозовск, где они некоторое время преподают в средней школе. Вскоре его, наконец, вызывают в райвоенкомат, но, оказывается, не для того, чтобы отправить на фронт, а чтобы он сопровождал конный обоз, уходящий в степь, в сторону тыла.

Тут Нержин попадает в совершенно чуждый для него мир. Он с большими трудностями учится обращаться с лошадьми, с упряжью... Проходит настоящую школу, сталкиваясь лицом к лицу с реальной жизнью простого народа. Но по-прежнему напрасно рвётся на фронт, напрасно засыпает письмами военное начальство. Однако в какой-то момент известие о том, что он — человек с высшим образованием, доходит до начальника штаба 74-го гуж-транспортного батальона, лейтенанта Титаренко, и тот даёт ему важное поручение: поехать в Сталинград и там передать какой-то пакет начальнику отдела кадров штаба Округа, а на самом деле — устную просьбу о том, что лейтенант Титаренко «погибает в лошадином обозе»<sup>2</sup> и просит, чтобы его снова отправили на фронт (что совпадает с собственными желаниями Нержина).

Таким образом Нержин сходится с людьми, способными оценить его побуждения, его стремление попасть в действующую армию... В конце концов ему удаётся получить направление на Артиллерийские Курсы Усовершенствования Командного Состава. На этом роман прерывается.

Это неоконченный роман, но произведение не оставляет впечатления обрывочности, незавершённости, потому что всё действие плотно сконцентрировано вокруг главного героя, и оно достаточно сжато. Неоконченность в том, что мы ничего не узнаём о его дальнейшей судьбе, но больше всего оттого, что побочные линии интриги обрываются (например, неизвестна судьба его молодой жены). Но и так сюжет, построенный вокруг личности Нержина и становления его духовного облика, создаёт впечатление вполне законченного целого.

Эта повесть (или неоконченный роман) имеет двойной сюжет: с одной стороны, судьба молодого героя, Нержина, а с другой — судьба России в первые годы войны. Они неотделимы друг от друга, одно отражает другое.

Первая линия — психологический анализ советского молодого человека, воспитанного в духе советских принципов и советской идеализации. Но человека искреннего, способного к критике и достаточно независимого в своих взглядах. С первых же страниц несводимость его облика к среднему советскому мировоззрению бросается в глаза: порываясь вернуться поскорее в Ростов, чтобы любой ценой попасть в армию, Нержин всё-таки находит время зайти «поклониться памяти Скрябина» «в глухом переулке Арбата», где «как-то особенно печально темнела глубина молчаливых комнат за стёклами закрытого дома-музея» (219).

Неодносторонность духовного облика Нержина лучше всего передаётся через его отношение к своей стране: «У этой страны последнее время появилось второе подставное название — “Россия”, — даже чем-то и приятное слово, оттого что раньше было всегда запрещено и проклято, а теперь всё чаще стало появляться на страницах газет. Слово это чем-то льстило, что-то напоминало, но не рождало своего законченного строя чувств, и даже раздражало, когда им, кипарисно-ладанным, соломенно-берёзовым, пытались заставить молодое свежее слово “Революция”, дымившееся горячей кровью» (214–215).

Вторая линия — описание России в начале Второй мировой войны, прежде всего описание передвижения внутри страны: поездка героя из Москвы в Ростов на второй день войны, затем отступление вместе с конным обозом в глубь страны. Но, главное, книга содержит описание путешествия в Сталинград («командировки» от имени лейтенанта Титаренко) — поразительное описание железных дорог зимой 1942 года: «Никаких расписаний. Онемели рупоры станционных громкоговорителей. Неизвестно, какой поезд куда отходит и через сколько. Редко открываются на миг билетные кассы» (315).

В этой книге уже присутствуют мотивы, которые потом будут использованы в зрелом творчестве А. Солженицына. Например, «телёнок» как символ прямоты, даже задора, но и слабости, пока ещё неосознанной, — например, когда Нержина вдруг задерживают как «сеятеля паники» и обвиняют в том, что он «устраивал очереди», и он, даже не подозревая об этом, оказывается в очень опасном положении. Автор тогда называет его «телёнком от философии»... Или же когда он не колеблясь ставит двойку дочери секретаря райкома: «<...> Нержин был ещё настолько телёнок, что думал, будто у справедливости хватит когтей отстоять себя» (238).

Здесь также присутствует мотив перемолотого зерна, другой сквозной мотив зрелого творчества Солженицына, — уже на самой первой странице этого произведения (213).

Кроме мотивов телёнка или перемолотого зерна здесь играет особую роль фамилия героя — Нержин. Она связывает это раннее произведение с пьесой «Пленники» и возникнет опять в «Круте первом». Фамилия представляет собой некую ведущую нить.

В «Дневнике Р-17» А. Солженицын объясняет, каким образом к нему пришла сама идея этой фамилии. Перечитывая свой военный дневник, или скорее записи, сделанные в лагере, чтобы восстановить сожжённый на Лубянке дневник, он вдруг замечает: «Кстати, наткнулся: декабрь 1943 — дер<евня> Свержень (невдали от Рогачёва). И вспомнил: ведь именно *отсюда* (сразу поражённый сочетанием) я искал свой будущий псевдоним или фамилию главного героя: Свержень — Свержин (Свержинин) — Вержин — Кержин — Нержин. (“Свержин” смягчал из-за слишком резкого политического звучания.)»<sup>3</sup>

Этот топоним (Свержень) имеет особое значение, он связывает историю самого автора (а значит, и того самого Нержина, который был выбран как герой этой первой большой литературной попытки) с историей страны в два роковых момента, во время обеих мировых войн, но и с его семейной историей, поскольку именно в тех местах во время Первой мировой войны стоял гренадерский полк, где служил его отец Исаакий.

Однако на данном этапе его творчества становление главного героя ещё не увело писателя в сторону его семейных корней. Нержин максимально приближен к самому автору, к его сегодняшним жизненным обстоятельствам. Невнимание к семейному прошлому вполне осознанно, оно объясняется именно молодостью: «Растёт ребёнок, потом мужает — и кажется ему стержнем жизни его собственное существование, а родители как бы приложением. <...> Не много искал Глеб узнать о рано умершем отце, никогда им и не виданном» (233). Как пишет Л.И. Сараскина в биографии Солженицына: «Спохватится писатель много позже, когда фигура отца, студента и офицера, явственно определится как центральная для “Красного Колеса”»<sup>4</sup>.

То, что в этом раннем произведении Нержин — двойник автора, бросается в глаза с первых же страниц. В центре внимания — его реакции перед советской действительностью тех лет, его духовный облик, и только где-то на заднем плане его происхождение, через которое русское прошлое входит в повествование. Здесь этот второй аспект пока существует как бы подспудно. Главное — восприятие героя. Исторические обстоятельства вырисовываются тем ярче, что они отражают восприимчивость Нержина, его непосредственность, наивность, весь его душевный строй. Тем показательнее те редкие моменты, когда его вера в социалистическую родину начинает колебаться.

Если сопоставить «Люби революцию» и «Красное Колесо» — то есть начальный и конечный этапы творчества Солженицына, становится очевидным, что каждый раз речь идёт о значении революции. Но если смотреть на «Люби революцию» с точки зрения его зрелого творчества, как мы обычно делаем бессознательно, то может показаться, что название «Люби революцию» звучит несколько иронически. А это отнюдь не так. Лавренёв, чьи стихи взяты как эпиграф, — один из признанных советских драматургов 30-х годов, певец революционного героизма, которым и пропитано это раннее произведение Солженицына. Как пишет Л. Сараскина, повесть «Люби революцию» «навсегда сохранила юношескую привязанность к Лавренёву, мастеру романтического повествования»<sup>5</sup>. Ему А. Солженицын посылал какие-то свои первые литературные опыты, они были в переписке, но война её оборвала.

Автор принимает всерьёз настроение своего героя, несмотря на юмор и даже порой на некоторое осуждение. Здесь прежде всего описывается, как трудно даётся познание: один уровень реальности, сначала невидимый, постепенно берёт верх над другим, самым явным. Нержин принадлежит тому поколению, которое верит в Великую Всемирную Революцию, ожидает её (хотя и довольно неопределённо), наивно заимствуя традиционные настроения русских революционеров XIX века: «Всему поколению — лечь не жалко, если по костям его человечество взойдёт к свету и блаженству» (217).

Нержин верит, что «жил <...> в лучшей из стран — стране, уже прошедшей все кризисы истории, уже организованной на научных началах разума и общественной справедливости» (214). Однако авторская ирония подсказывает, что это убеждение неоднозначно; оно, может быть, в конце концов не так уж далеко от чёрствости, так как «разгружало его голову и совесть от необходимости защищать несчастных и угнетённых, ибо таковых не было» (там же)...

С первых же страниц устанавливается сложный механизм, где искреннее незнание переплетается с нежеланием (или психологической невозможностью) знать. На основе этого механизма — противостояние двух терминов, «Россия» и «Революция». Путь Нержина — путь к познанию (и поэтому он вторит опыту самого автора) через осмысление взаимоотношений этих двух противоположных терминов. Это «роман воспитания», как заметил Ж. Нива<sup>6</sup>, роман

воспитания одного советского молодого человека, отнюдь не инакомыслящего, наивного идеалиста, однако способного к критике по отношению к окружающей действительности.

По сравнению с этим неоконченным романом замысел «Красного Колеса» уходит вспять до августа 14-го, углубляясь в причины русской катастрофы. В «Красном Колесе» то, что интересует автора, — это уже не *как* сформировалось мирозерцание его героя, но *что* его сформировало издавна. Замыслы этих двух произведений уходят в противоположные стороны. В глазах автора направление «Люби революцию» оказалось или несостоятельным, или, по крайней мере, недостаточным, чтобы разобраться в корнях и сущности этого мирозерцания. Может быть, из-за этого произведение и осталось неоконченным.

Исходная точка, которая даёт толчок раскрытию внутреннего «я» Нержина, — война. В такие моменты самое существенное для страны, как кровь в человеческом организме, — связь, транспорт, и прежде всего железные дороги. Железнодорожный транспорт эксплицитно ассоциируется с кровообращением: «Как порции крови по пульсирующей жиле, проталкивались на восток эшелоны — они везли оборудование заводов, складские товары <...> за Волгу, за Урал, за Обь <...>» (235). Но грандиозное описание затруднённых сообщений внутри страны имеет и метафорическое значение: замысел романа — показать, как молодому герою открывается путь к другому человеку, человеку из другого социального слоя, другой области исторического прошлого и другой возрастной группы. В этом смысле показательно отношение Нержина к своей педагогической работе: «Обоим Нержиным нравилось преподавать, и они искренно считали себя безукоризненными педагогами. Они не замечали, что любили не столько эту работу, сколько себя в этой работе — <...> свою способность, ведя урок, чутко видеть и слышать глазами и ушами детей, — но всё-таки любили они себя больше, чем их, — потому что молоды сами» (236).

Роман содержит уникальную картину, которую можно было наблюдать в России в первые месяцы Второй мировой войны, — железнодорожные составы и конный обоз, уходящий в сторону тыла. Наибольшую трудность для переводчика представляют реалии того времени, настолько не похожи они ни на что из того, что привычно для иностранца. Иными словами, точный эквивалент перевода — в данном случае на французский — может вызвать у читателя совершенно неверное представление. А ведь именно для иностранного читателя особенно ценно то, что передаются действительные исторические обстоятельства, и в каких-то неожиданных, почти невероятных, но вместе с тем очень реальных ситуациях, при максимальной предметности изображения.

Исключительное значение, придаваемое железнодорожному транспорту, пронизывает текст каким-то эпическим духом: «Дороги железные! Железные дороги первой военной зимы! Как будто снова задули на них ветры граждан-

ской войны, в которых, Нержин жалел, что не жил» (314). Героическое путешествие Нержина из штаба 74-го Отдельного гуж-транспортного батальона в Сталинград представляет собой как бы чередование небольших театральных сюжетов, окрашенных драматизмом, но вместе с тем и явным или еле ощутимым комизмом.

В диспетчерской, куда зашёл Нержин в надежде найти какую-нибудь возможность двинуться дальше, вопреки всяческим запретам собрался народ, своего рода ступок всех групп русского населения, пустившегося в путь из-за войны: «А когда проникнешь сквозь самую последнюю и самую грозную из дверей, то с умилением услышишь здесь и плач младенцев, и материнские колыбельные, увидишь и бородачей с непременными мешками, и таких же солдат, как ты, и тем более командиров. Ты вошёл теперь в то место, где рождается движение поездов» (317). Этот отрывок, который заслужил бы название «случай в диспетчерской» (артист, отстав из ленинградского эшелона, вдруг просит изумлённого диспетчера, чтобы тот посадил его на другой поезд), содержит эксплицитную аллюзию на Чехова: «Диспетчер, как чеховский бухгалтер, готовый на преступление, молча смотрит на незнакомца с нарастающей мутью взгляда» (318).

Полная неразбериха на железных дорогах придаёт короткому путешествию Нержина эпический размах: «Никаких расписаний. Онемели рупоры станционных громкоговорителей» (315). Или чуть дальше: «Сколько ещё этому поезду идти? — один перегон? или пять тысяч километров? И: когда он пойдёт, если вообще пойдёт, — то куда: направо или налево?» (316).

Поэтому центральный образ, хоть и в неявной форме, — образ колеса. Наряду с мотивами «телёнка» и «перемолотого зерна», и, наверное, гораздо крепче, он прямо связывает «Люби революцию» с «Красным Колесом». Сверхчеловеческие трудности передвижения придают образу колеса исключительное, отнюдь не отрицательное значение. Оно становится символом жизнеутверждения: образ движущегося колеса возникает вместе с радостным чувством Нержина, когда его отправляют в командировку, вселяя в него надежду попасть, наконец, в действующую армию: «Получило, получило толчок колесо застоявшейся жизни! Что за радостное ощущение, что на свою судьбу способен сам и повлиять!» (314).

Те же ассоциации возникают, когда Нержин, рискуя жизнью, в последний момент успевает зацепиться за заднюю лесенку открытой платформы поезда, уходящего в сторону Сталинграда: он взобрался на четвереньках по круче, и ему «казалось, он вообще не разогнётся от слабости. Но его обдал ветер из-под колёс, и как придал ему сил» (333). Он вполне мог попасть под эти колёса, если бы не подхватил его в последний момент мужик-крестьянин, один из тех, что стояли на платформе (что явно имеет символическое значение).

Но образ колеса появляется в другой опасный момент, когда сама угроза носит иной характер. Когда Нержин оказывается на волоске от ареста по об-

винению в том, что он «устроивал хлебные очереди» и «сеял панику» (нужно было милиции найти козла отпущения в условиях начинающегося голода), возникает страшный образ того самого красного колеса:

«Так и до самого конца Нержин не понял и не ощутил опасности. <...> Так легко миновало, как будто и не было: огромное колесо прокатилось, едва не размочив его в мокрое место, — а Глеб не мог даже понять, что оно есть и что оно — катится.

А оно — катилось. И уволокло шестидесятилетнего чудака-художника Германа Германовича Коске. Он был немец <...> и как таковой в первые же дни войны был забран» (230).

Читатель (а пожалуй, и автор) находится между двумя противоположными, но одинаково существенными значениями образа колеса. То, что они пока слиты, даёт нам ключ к интерпретации образа Нержина. Он сам находится как бы на распутье. Однако нужно помнить, что текст просматривался автором по возвращении из ссылки, и сейчас трудно судить о том, какие были внесены изменения с учётом его лагерного опыта.

Неотступно присутствует атмосфера сталинских лет с самыми страшными реалиями того времени, но не напрямую, о чём свидетельствует вышеуказанный пример. В тот момент Нержина спасает только вмешательство влиятельного отца одной его сокурсницы (военного врача, коммуниста, но очень дельного и трезвого человека): «— А ты понимаешь, чем это пахнет? Десять лет лагерей» (229). В том и проявляется ироническое отношение автора к своему герою, что и тут Глеб ничего не понимает: «У силы угрозы, у степени опасности есть предел, выше которого они никого не пугают. <...> “Пять месяцев” больше бы испугали Глеба, чем “десять лет”» (там же). И тут же автор называет его «двадцатитрёхлетним телёнком от философии».

В какие-то ключевые моменты Нержин как будто становится глух, страшная сталинская действительность просто не вмещается в его сознание. Пожалуй, самое показательное место в повествовании — рассказ о лагерях, услышанный им от его соседей в Морозовске: Глеб не может отрицать того, о чём ему рассказывают, но эти факты остаются как бы вне его поля зрения, вне той действительности, где он сам находится. Это не признак безразличия, это не означает, что он закрыт к чужим испытаниям. Случай с «хлебными очередями» показывает, что он сам может стать жертвой системы, так и не почувствовав опасности. Но сам по себе рассказ о Джеккагане свидетельствует об одном, более общем вопросе: как поведать о неизъяснимом? Можно ли передать такой предельный опыт?

Постепенному раскрытию второй, подспудной реальности способствует двойственная психология героя. С одной стороны, жизнерадостное чувство, уверенность и в своей правоте, и в окончательной справедливости советского строя (и потому полное бесстрашие), а с другой — отрицательное отношение к Сталину, определённая независимость в суждениях, способность к критике.

Подобная психологическая установка обеспечивает такое же двухплановое описание окружающей действительности: какая-то вторая реальность, полускрытая, не вполне осознанная, навязчиво сопутствует первой. Эта вторая реальность на какие-то краткие мгновения рвётся на поверхность, но вскоре загущивается — например, после того страшного рассказа о Джеккагане: «<...> в который раз холодное дыхание невозможного, недопустимого, совершенно невидимого, <...> необъятного мира наносилось на Глеба. Сланцевой горой Жигулей, усеянной каменоломами; пьяной удалью, хмельной отрыжкой раскулаченного дяди Миши; ночной погоней за лагерными беглецами в Красной Глинке; утренним волжским катером, набитым заключёнными <...>» (241–242).

Он сразу спохватывается: этот мир «не может быть, чтобы он был». Детали повествования, относящиеся к сталинским репрессиям, могли бы даже оставаться почти незаметными по сравнению с главными мотивами. Но в памяти читателя они мало-помалу составляют подоплёку той первой, видимой действительности.

То, что позволит герою преодолеть эту внутреннюю преграду на пути к познанию, — это люди. Ясная простота — в смертоносной системе. Спасительная сложность — в людях (как показывает образ врача-коммуниста, отца его сокурсницы, который его спасает от ареста). Роман показывает, как герою постепенно открываются люди, реальный «народ», и их подлинное отношение к революции. Воспоминания Дашкина, «кучера» в его конном обозе, которого он расспрашивает о его прошлом («— Я-то? Воронежской губернии Бобровского уезда первый революционер. <...> Герой гражданской войны. Комиссар хлеба-заготовок» (267)), звучат для Нержина настоящим «развенчанием» (269) так называемого революционного героизма. Сам он, кстати, оказывается способен слиться с этим «народом» и в самом худшем — например, когда обозники забирают для своих лошадей весь запас сена одного колхоза, издеваясь при этом над его директором (273).

Жизненный путь Нержина показывает, как познание самого себя и познание окружающей действительности неотделимы друг от друга. Пожалуй, главная веха в этом процессе обретения себя — сибирский мужик Порядин, новый Платон Каратаев: «Порядин же был чистый Платон Каратаев, и Нержин, усмехаясь, вспомнил нападки марксистской критики на Толстого, что Каратаева он придумал. Порядин такой же был круглый, добрый, такой же умелец во всяком деле, так же прибаутками сыпал, только о Боге не упоминал никогда, но, глядя на его светящееся лицо, Нержин не мог себе вообразить иного источника этого постоянного внутреннего света у Порядина» (283).

Порядину Нержин обязан главными знаниями, приобретёнными в конном обозе, с первого взгляда совершенно разными, но на самом деле связанными размышлением над судьбой русского крестьянства. От него он узнаёт между прочим и о том, как надо обходиться с лошадьми, и о том, какова была

участь крестьян в период коллективизации. В этом смысле можно сказать, что это роман о воспитании, но воспитании народом — прежде всего крестьянской средой. Таким образом возрождается традиция классической русской литературы, но переосмысленная в специфических условиях XX века.

Путь един к познанию самого себя, своих семейных истоков и своей страны. Здесь описывается самое начало этого сложного и длительного процесса познания, который сейчас устремляется в будущее, подчиняясь жизненному порыву молодого героя, а потом с «Красным Колесом» обратится назад, в прошлое.

### Примечания

<sup>1</sup> Цит. по: *Сараскина Л.И.* Александр Солженицын. М.: Молодая гвардия, 2008. С. 45. (Серия «Жизнь замечательных людей».)

<sup>2</sup> См.: *Солженицын А.И.* Люби революцию: Неоконченная повесть // Протеревши глаза: Сб. М.: Наш дом — L'Age d'Homme, 1999. С. 314. Далее цитируется это издание с указанием в скобках страниц.

<sup>3</sup> *Солженицын А.И.* Дневник Р-17. Фрагменты неопубликованного текста «Дневника Р-17» приводятся по рукописи писателя (см.: Архив А.И. Солженицына в Троице-Лыкове).

<sup>4</sup> *Сараскина Л.И.* Указ. соч. С. 45.

<sup>5</sup> Там же. С. 170.

<sup>6</sup> См.: *Nivat G.* Les métamorphoses de Soljénitsyne // *Le Monde*. 16.11.2007.